

«Я живу внутри стараюсь делать эту так, как

Георгий Петрович Щедровицкий, с которым многие из читателей журнала, возможно, знакомятся впервые, не был ни профессором, ни доктором наук. Он и кандидатскую-то защитил относительно поздно, в 1964 году, урезав многотомную «диссертацию» до размеров, приемлемых для нашего ВАКа. Более сорока лет фанатично трудился — сам мыслил и других, кто этого хотел, к мышлению приобщал, а опубликовал при жизни лишь малую долю того, что было написано.

Написал же столько, что, уйдя из жизни, оставил личный архив, содержащий около четырех тысяч единиц хранения (папок) — и в каждой из них тексты на самые разные темы.

Между тем, кабинетным философом, отрешенным от социальной жизни, он никогда не был, не писал «в стол» для потомства, а, напротив, неутомимо участвовал во всех научных и философских «разборках». Большую часть жизни отдал семинарской работе в организованном им Московском методологическом кружке (ММК) и беседам с коллегами и учениками в свободное от семинаров время. Огромное количество дискуссий, докладов, лекций, бесед... И никогда не прекращавшаяся рефлексивная работа над своим и чужим «мыследействием».

По возможности тексты записывались на магнитофон и затем, расшифрованные, пополняли библиотеку семинара и личный архив.

Его друзья-единомышленники, с которыми он в 50-е годы устраивал философские «смуты», такие, как М. Мамардашвили или А. Зиновьев, или друзья-оппоненты вроде Э. Ильенкова, давно «вышли в люди», предъявлены и известны интеллигентному читателю, обрели пусть не окончательное, но вполне определенное место в современной культуре. А он — их современник, человек, с точки зрения тех, кто с ним работал, не уступающий этим мыслителям ни в масштабе, ни в результатах своих творческих усилий, — широкой читающей публике почти незнаком.

Он был не только мыслителем, но и человеком действия и, не имея возможности полноценно реализовать себя в атмосфересоветского официоза, создал свой

собственный мир, свою Касталию, в которой мог свободно жить и мыслить.

В этой задуманной и реализованной Касталии он, как и подобает мыслителю, искал свой ответ на извечный вопрос: «Кто мы? Зачем и куда идем?» Этим ответом стала разработка глобальной методологической программы и ее центрального звена — «подхода», который он называл сначала деятельностным, потом системодетельностным и, наконец, системомыследействительностным.

Но одновременно с этой программой он неизбежно создавал и образ современного мыслителя. Не предметного специалиста — не физика, не лингвиста, не педагога, — а именно мыслителя в традиционном, философском смысле этого слова как фигуры универсальной, но — в ее новой, современной форме. Создавал не на бумаге, а в жизни, самой своей личностью, и предъявил этот образ миру как некоторый урок и загадку. Недаром Московский методологический кружок сумел объединить и инженеров, и физиков, и лингвистов, и педагогов, и философов, и архитекторов — учившихся говорить друг с другом на едином, универсальном языке, на котором можно ставить и обсуждать любые проблемы, связанные с вынашиванием и воплощением самых разнообразных интеллектуальных замыслов.

Г.П.Щедровицкий был убежден, что подлинное интеллектуальное творчество — это всегда работа на будущее. И он активно формировал образ будущего, во многом альтернативный тому образу, который складывается в передовых странах Запада, — другой вариант XXI века. Это была разработка современных интеллектуальных, мыслительных технологий, ориентированных на будущее.

Что это за технологии, зачем и кому они могут понадобиться? Определенный ответ на этот вопрос дает он сам в тексте, который впервые публикуется в журнале.

Читателей, заинтересованных в более углубленном знакомстве с творчеством и личностью Г.П.Щедровицкого, мы отсылаем к вышедшим в 1995 году «Избранным трудам» и к выходящей в свет в конце года следующей книге из серии трудов этого мыслителя — «Философия. Наука. Методология».

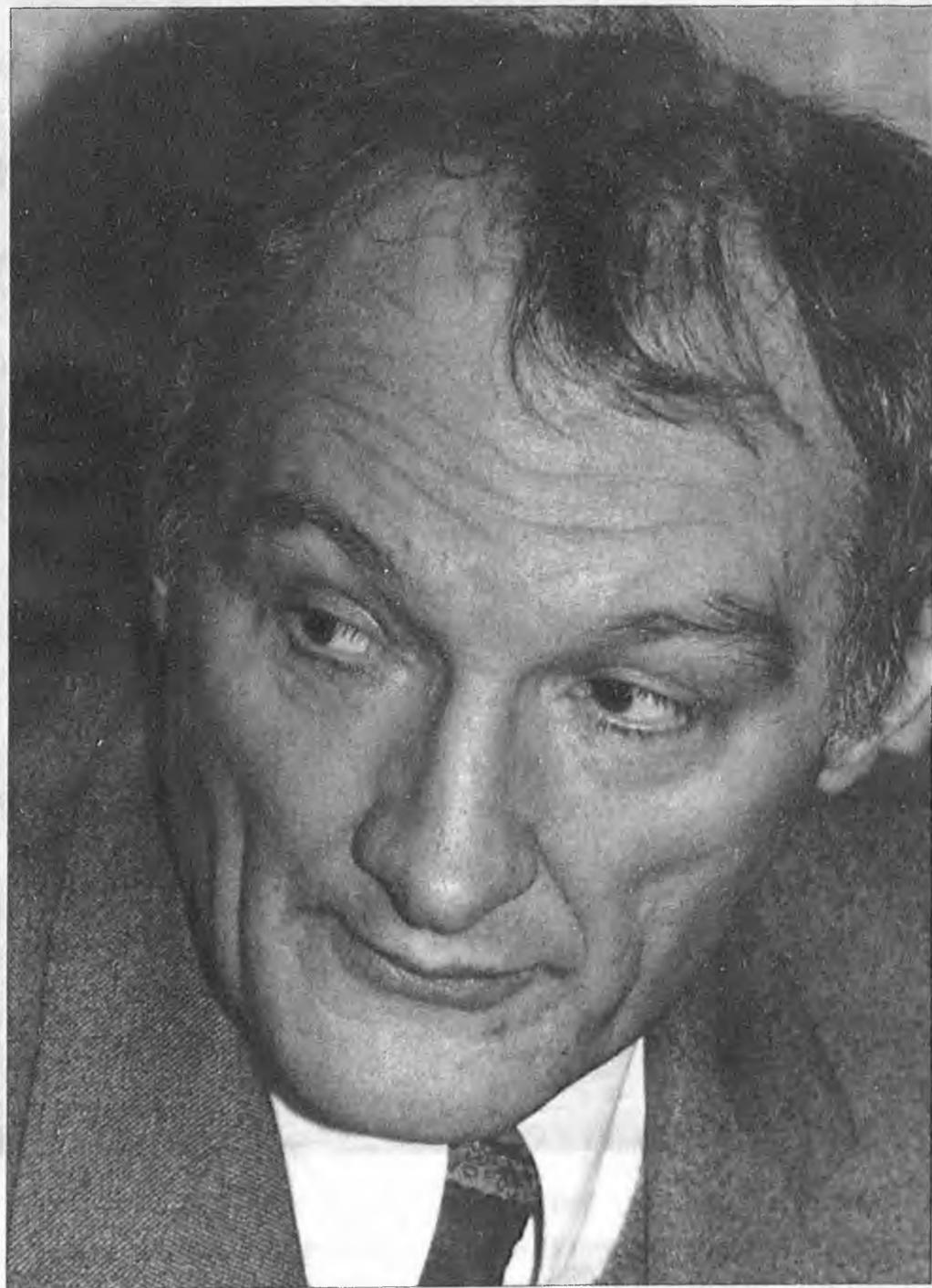
философии, самую философию — МОГУ...»*

ГЕОРГИЙ ЩЕДРОВИЦКИЙ (1929 — 1994)

Нередко можно слышать в последнее время, что никакой философии в Советском Союзе не было и вообще ничего не делалось. Я понимаю основания для таких высказываний и вроде бы могу согласиться, что если речь идет об официальной философии, то там очень мало вещей, которые можно всерьез обсуждать как философские. Но, говорю я, официальная философия — это отнюдь не философия страны. <...>

Я полагаю, что у нас в эти годы — вот в те сорок лет, о которых я хочу рассказать — сложилась своя, национальная школа философии, и сегодня мы имеем философские представления, которые не уступят философским представлениям любой другой страны. И в этом смысле философия у нас есть и даже со многих точек зрения о-го-го какая! <...>

Я хочу рассказать, в каких условиях возникал Московский методологический кружок, или Московская методологическая школа, как философская школа, какие проблемы там возникали и как шло развитие основных идей.



По своему исходному образованию я физик, хотя в молодости меня больше всего привлекала история, и мне это казалось самым важным и принципиальным делом. Но родители мои объясняли мне — очень жестко и определенно, — что человеком может считаться только тот, кто имеет настоящую профессию. А быть историком или философом значит не иметь такой профессии и, следовательно, не быть человеком. В этом что-то есть. Поэтому мы искали компромисс, и я начал свою учебу в университете как физик. Но где-то к концу третье-

го курса начал понимать, что решение — неправильное и что без гуманитарной науки — философии — мне не жить. Я перешел в 1949 году на философский факультет, и вот с тех пор живу внутри философии, по возможности стараюсь делать эту самую философию — так, как могу.

Это было время остановки жизни самой философии...

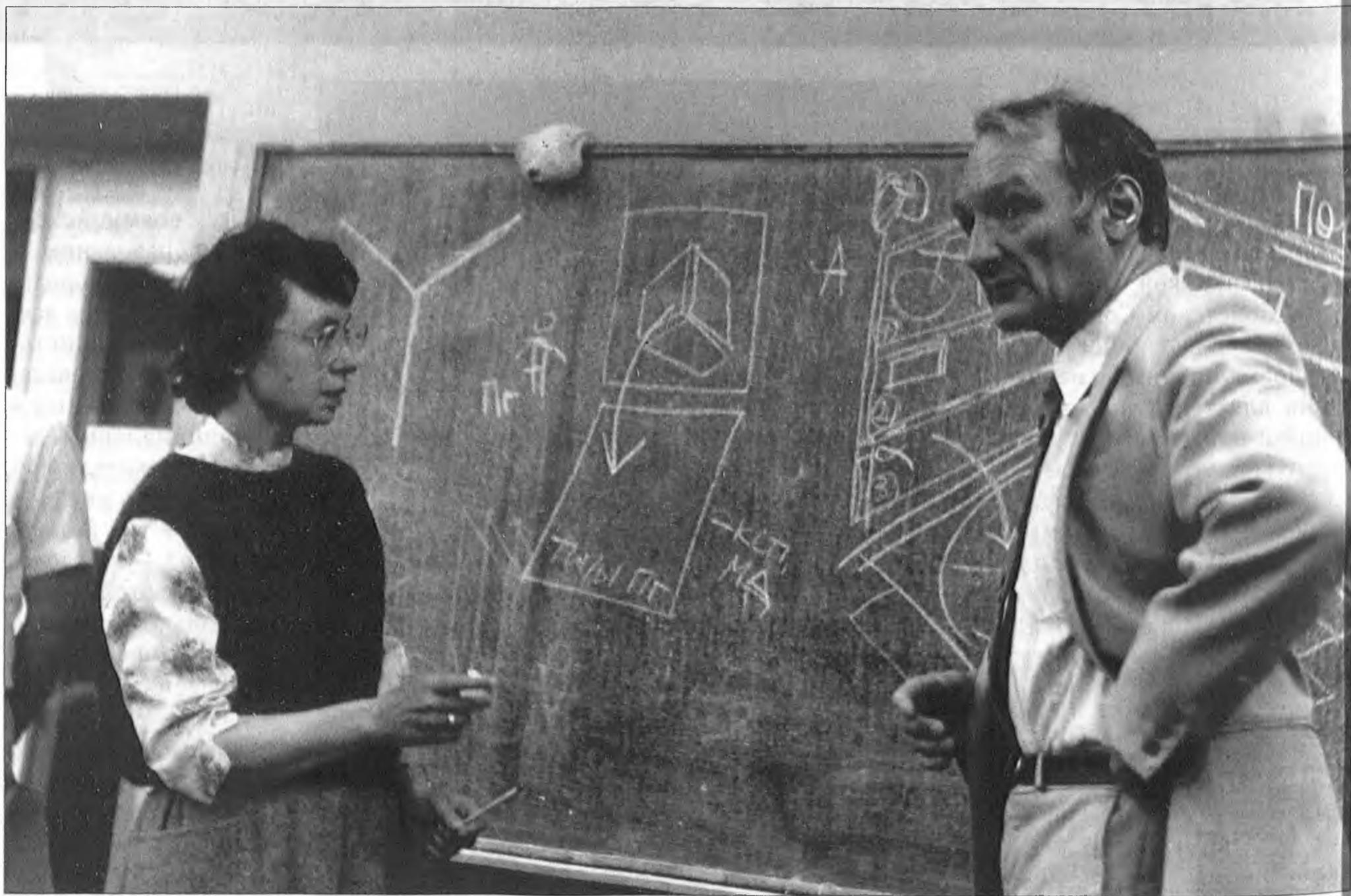
Работающих институтов с подлинной философской проблематикой просто не было. Людей, которые знали бы и понимали философию, тоже не было.

* Фрагменты текста публичных лекций по истории ММК, прочитанных в марте—мае 1989 г. [Источник: неавторизованный машинописный текст с магнитофонной записи.]

И это то, с чем я столкнулся, придя на философский факультет. И я, и многие другие. <...>

С одной стороны, полное отсутствие философской проблематики, людей, способных работать в философии на официальных местах, — преподавателей и учителей, а с другой — невероятно интересные студенческие коллективы, в которых были и вчерашние школьники, и люди, прошедшие войну, знающие все ее ужасы, познавшие, что такое доброта, и понявшие необходимость широкой точки зрения и такого взгляда, который

по проблемам логики на философском факультете свою концепцию и просуществовал где-то до 1957 года. Его участниками были: Александр Зиновьев, Борис Грушин, Мераб Мамардашвили и я. И еще много-много студентов, позднее вокруг него объединившихся. В 1957 году этот логический кружок распался в силу внутренних противоречий. Люди разошлись. И поэтому с 1957 года был создан Московский методологический кружок (ММК), который и существует до нынешнего времени. Его создателем пришлось быть



берет на себя ответственность за целое — за жизнь какой-то системы культуры, за жизнь страны и т.д.

Можно, конечно, и нужно в определенный момент заниматься социальной философией, <...> но тогда все это было невозможно, и потому все те, кто хотел заниматься философией по-настоящему, шли на кафедру логики и начинали обсуждать логику — прежде всего как формы и методы самоорганизации, т.е. организации собственного мышления, собственного действия в существующих условиях жизни — такого, которое несет в себе осмысленность.

Московский логический кружок (МЛК) сложился в 1952 году, потом в 1954-м выдвинул на совещании

уже мне одному, поскольку Зиновьев пошел своим путем, Грушин — своим и Мамардашвили — тоже.

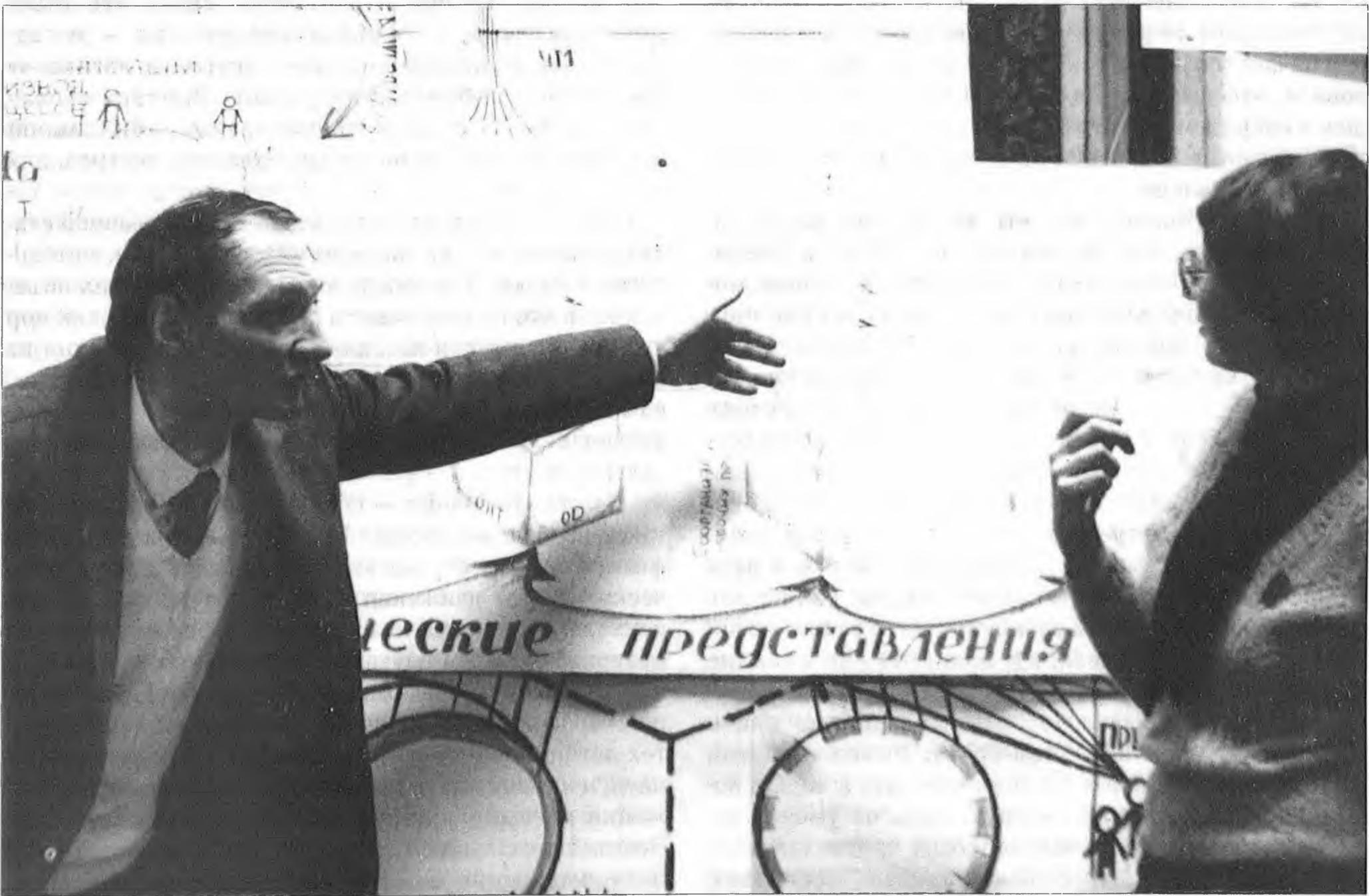
Первый период существования МЛК-ММК — с 1954 года где-то по 1963 год — это период разработки понятия мышления и теории мышления. Потом, в 1963 году, на 3-м симпозиуме по логике науки и методологии, проходившем в Томске, была объявлена новая программа, программа разработки теории деятельности. И она разрабатывалась до 1971 года. Это второй период. С 1971 года начинается третий период, и он продолжался до 1979 года. Это период разработки представлений о мысли-коммуникации. Мысль-коммуникация стала главным предметом исследования. 1979—1989 годы — это период разработки орга

низационно-деятельностных игр (ОДИ) и практики этих игр.

Сейчас период, когда ОДИ были главным предметом конструирования и практики, кончился, и сегодня уже дальнейшая разработка ОДИ не влияет на методологию. ОДИ работают, они внедрены в нашу культуру, пользуются большой популярностью и спросом, все время пишут разные статьи о том, как это происходит... Мы стоим на пороге нового периода, для которого надо выработать свою особую

дал нам возможность выразить свое отношение, свое понимание ситуации.

Это была первая такая дискуссия, в которой мне пришлось участвовать, она продолжалась с октября 1953-го по март 1954-го. А как только она окончилась, прошла другая дискуссия — о функциях философии, которую проводила кафедра зарубежной философии. Двумя основными докладчиками были Э.Ильенков и В.Коровиков; они придерживались очень интересной концепции, с которой я не могу согласиться. Я с ними



программу. Это очень большой поворот, и принципиальный, поскольку практика ОДИ как бы отодвинула разработку методологии на задний план и вообще оттеснила. И теперь надо начинать все по-новой — задать новые проблемы, провести новый анализ ситуации и выработать новые программы и их реализовать.

Так получилось, что философский факультет — при всех тех квалификациях и характеристиках, которые я здесь изложил (и я не стал бы от этого отказываться) — был, тем не менее, как бы барометром и первым реагировал на все условия и обстоятельства жизни. Поэтому в 1953 году, в октябре, ученый совет философского факультета устроил всемосковскую дискуссию о функциях и назначении логики в системе наук. И это было тем внешним поводом, который

спорил тогда, внутренне продолжаю спорить и сейчас. Это как бы неогегельянская концепция, неогегельянство на нашей феодальной почве. Эти две дискуссии <...> были основными факторами, которые определили траекторию моего “полета” на все время вплоть до сегодня.

Поскольку намечалась такая дискуссия, мы, аспиранты и студенты кафедры логики МГУ, должны были определиться в своей профессии, задать рамки, или пространство, своей жизни, мышления и деятельности. <...>

Нам прежде всего надо было определиться в том, что делать и как двигаться дальше. Выступал Б.А.Грушин, потом я. Для меня это выступление задавало программу будущих действий и организационной работы — “Функции и назначение логики в современном ми-

ре". Так получилось, что выступили мы довольно удачно, и обе воюющие стороны — а воюющими сторонами были, с одной стороны, формальные логики, с другой стороны, диалектики — стремились причислить нас к себе и были правы, поскольку теперь-то я понимаю, что мы были и формалистами (в смысле формальной логики), и диалектиками, поскольку формализовали мы эту самую диалектику.

Насколько я понимаю, это было сделано впервые в европейской культуре. Я это говорю не потому, что не знаю, что делалось за рубежом, а именно зная это, но очень высоко оценивая тогдашнюю попытку — по ее перспективам. Итак, мы ее произвели, это вызвало фурор на философском факультете, мы впервые почувствовали, что выросли из коротеньких детских штанишек и начинаем уже что-то представлять собой. Но раз таким удачным был первый шаг, надо было все это разворачивать дальше.

И так получилось, что мы, только что закончившие факультет, еще не ставшие, по сути дела, специалистами, но очень нахальные и самоуверенные молодые люди, должны были отвечать на вопрос примерно так же, как это происходит у Тарковского. Помните, когда парня из умирающей деревни вытащили и спросили, умеет ли он лить колокола, и он стоял перед выбором: сказать "нет" — значит сдохнуть там, в деревне, а сказать "да" — значит взять на себя то, чего он делать не умеет. Вы помните: когда колокол зазвонил, парень этот опустил в изнеможении, заплакал и сказал: "Проклятый тятка, а ведь тайны так и не открыл!" Так вот, тайны, как делать философию, логику, мы не знали, никто ее нам не передавал, и, по сути дела, мы жили без учителей, не уважали их, не ценили, поскольку они были малограмотными и "чего изволите". Мы взяли на свои плечи ношу, которую нельзя было брать, поскольку плечи были не развиты. Но я так понимаю, что в жизни вообще не знание играет главную роль, не умение делать, а только личная человеческая претензия, окаянство или то, что Высоцкий называл "настоящий буйный".

Мы должны были искать пространство своей работы. В каком-то плане оно было уже определено. Мы были логиками и должны были теперь решить вопрос: какую же функцию несет на себе логика в системе наук? А это приводило к вопросам философии и методологии. Но вы должны понимать (и наверняка понимаете), что у нас тогда была и могла быть только одна методология — методология диалектического и исторического материализма. Если пользоваться терминами Канта, то это был "канон", или норма, за границы которой нельзя было выходить.

Но при всем этом надо было ответить на вопрос: что же такое методология? В какой мере логика может быть методологией? И тут нам огромную помощь, конечно же, оказала та единственная работа марксист-

ско-ленинской философии — это "Философские тетради" Ленина, его замечания на работы Гегеля и конспекты соответствующие, — где эта проблема ставилась. <...>

Те из вас, кто интересуется философией, знают, что гегелевская формула, которую повторил Ленин состояла в том, что теория познания, методология и логика суть одно и то же. Вот с этого мы, собственно говоря, и начинали, и примерно десять лет моей жизни и работы проходили в твердом убеждении, что это — вот такое вот, на большой палец, откровение и шаг вперед. Сейчас я понимаю, какая это была страшная глупость и ошибка: методология — это одно, теория познания — совсем другое, а логика — третье. Но ошибки бывают разные. Вот гегелевская ошибка была, с моей точки зрения, гениальной ошибкой, поскольку она открывала перспективы для работы. <...>

Итак, я уже сказал, что реально для нас главной стала проблема: что же такое логика, философия, методология и наука? Что между ними общего? Что их объединяет и что их различает и разделяет? Я и до сих пор думаю, что это для нас, для нашей страны — один из основных вопросов, и, может быть, если мы его решим, нам не нужно будет даже догонять Европу — немцев, англичан, французов, — мы сможем сразу шагнуть дальше. <...>

Но что это значит — обсуждать логику? И что это такое вообще — логика? Ну, с физикой все понятно: физика описывает, как это писал акад. Кедров, физическую форму движения материи. Точно так же, как психология описывает психическую форму движения материи... Каждая наука, соответственно, описывает, или отражает, определенную форму движения материи. Происходило, таким образом, в нашей философии тех лет постоянное удвоение мира — мы имели набор наук, и каждой науке соответствовала своя форма движения материи, которую эта наука отражала. <...> Всегда сначала появлялось то или иное учение, та или иная дисциплина, а потом выдумывали соответствующую форму движения материи — когда появилась кибернетика, выдумали "кибернетическую" форму движения материи и т.д. И это был стандартный способ мышления. <...>

Здесь же, как это ни странно, вульгарная трактовка отражения просто не срабатывала. Итак, есть логика. Что такое логика? Логика — это правила для руководства ума, правила рассуждения и вывода. Как же теперь объяснить эти правила на этой вульгарной схеме отражения? При этом мы все были теми, кого сегодня называют сциентистами, — мы верили в силу науки, мы считали, что движение к науке является прогрессивным и соответствует исторической тенденции.

Продумывая в последние дни тогдашнюю ситуацию — а для меня до сих пор там остается много чего непо-

нятного, — я понял и отчетливо увидел одну вещь, которую раньше, в те годы, не замечал. Я понял, что практически вся наша философия до сих пор остается во многом религиозной философией. Религиозной в широком смысле этого слова, т.е. философией, связанной с *верой* в то, что *должно быть*. И в этом есть своя сила. <...> Религиозная философия есть философия с принципиальным, категорическим императивом — как должно быть. Но только очень странным образом, с категорическим императивом не в смысле Канта — не в смысле требований к себе, норм своего личного поведения, личных взаимоотношений и своих обязанностей, а как требования, вынесенные в мир и даже объективированные.

И до сих пор, читая работы советских философов, независимо от того, какой системы взглядов они придерживаются, я каждый раз отчетливо ощущаю эту вот линию религиозного философствования и соответствующую эсхатологию. <...>

Религиозное направление может сказать: мы имеем некоторую систему знаний, и мы говорим о некотором должествовании. Ему не надо “класть” объекты и строить реальный мир. Но поскольку мы-то были сциентистами и работали в идеологии отражения, нам теперь надо было реализовать основной идеалистический ход и “класть” в реальность то, что мы зафиксировали, — как смысл и содержание нашего знания, надо было найти объективную реальность, нечто подобное логической форме движения материи. Наука требует сделать этот ход, и избежать этого нельзя. Если вы становитесь на точку зрения научного объяснения, то вы обязаны в любой системе знаний найти соответствующую объективную реальность. Дискуссия на философском факультете МГУ 1953—1954 годов подтолкнула и высветила эти тенденции. <...>

У нас было и то, и другое — обе эти линии — <сциентистская и религиозная>, и хотя мы отдавали предпочтение сциентистской линии, позитивизм мы сумели преодолеть именно в силу наличия у нас и другой философской компоненты — должного.

Ведущую роль в логическом кружке играл Александр Зиновьев. Он был старшим, и в моем сознании он до сих пор остается старшим. Он прошел войну, учился еще в ИФЛИ, потом после войны прошел еще раз весь курс философского факультета и имел возможность размышлять. Во многом те решения, которые мы тогда приняли, определялись его позицией. Я вообще думаю, что обсуждение философской позиции А.Зиновьева сороковых-пятидесятых годов есть одна из важнейших проблем советской философии, ибо, на мой взгляд, ничего нельзя понять в дальнейшем развитии всех направлений советской философии, если не рассматривать его тогдашнюю концепцию, взгляды, которые он формулировал, и то, как потом они развивались. Вы должны помнить и иметь в виду, что это

был первый послевоенный период, и советская философия начинала новую фазу своего развития, как, вместе с тем, и развития вообще российской философской мысли. <...>

Первый шаг Зиновьева заключался в утверждении, что и философия, и наука, и логика, и методология суть не что иное, как *деятельности*. <...> Этот тезис был противопоставлен тезису, что все это суть *знания* и что их можно анализировать как некие статические структуры. Зиновьев утверждал, что картина, например, тоже есть не что иное, как временно закрепленная деятельность — и со стороны художника, который рисует картину, и со стороны человека, воспринимающего эту картину. <...>

Был поставлен принципиальный вопрос: что такое логика, философия и т.п.? Ответ: деятельности — по-разному организованные. И это есть задание новой *онтологической* картины.

Дав такой ответ, мы, по сути дела, оставили совершенно в стороне всю научную традицию, а вместе с тем и вульгарно-материалистические ответы на вопросы: *что есть* и *каков мир*? Мы отвечали в духе Маркса, что мир есть *мир деятельности и мышления людей*. И это есть первая реальность, с которой мы всегда имеем дело, и рамки, в которых мы живем.

И вот в этих условиях было сделано фундаментальное *допущение* — это нечто более серьезное и фундаментальное, нежели просто гипотеза, — что *логика фиксирует, выявляет законы, правила и принципы человеческого мышления*. <...>

Итак, логика фиксирует, описывает мышление, его законы, правила и принципы, по которым *надо мыслить*. Теперь-то я понимаю, что это был очень большой шаг в сторону от традиционной науки, поскольку наука-то должна описывать то, что есть, а мы в этом смысле задавали одновременно и *норму*, своего рода *проект*.

При этом нам надо было построить новое представление о мышлении, с тем чтобы удовлетворить претензиям, с одной стороны, формальной логики, а с другой — содержательной логики, или всего того, что немцы называют учением о категориях, но обобщенно — содержательной логики. Поскольку мы написали на своих знаменах такие полярные положения, нам деваться было некуда. Как хочешь выкручивайся, но построй такие схемы, которые были бы правомерны и для той, и для другой линии. <...> Это было сделано в пятидесятые-шестидесятые годы, и, как я понимаю, это один из немногих примеров содержательной логики в мировой литературе. <...>

А дальше мы это все развернули — различения, которые, как выяснилось сегодня, работают очень и очень здорово.

Один из эпизодов нашей дискуссии, это 1955 год, когда начал в университете работать семинар, смеш-

ной семинар с массой очень интересных вещей. <...> Между Мерабом Константиновичем <Мамардашвили> и мной возник спор, который оказался очень важным в дальнейшем развитии. Я делал доклад на том семинаре и пытался различать познающее мышление и непознающее, другое мышление. Мераб Константинович говорит: "Чего это вы делаете? Мышление, оно — всегда познающее". Вот то, с чем я согласиться не могу, поскольку если мы положили мышление, отделив его от познания, то мы должны понять, что есть мышление познающее, в частности научное или исследовательское, есть мышление проектировочное, и это другой тип мышления, есть, далее, мышление программирующее, и это третий тип мышления <...> — мышлений, вообще, много разных. И надо теперь строить типологию мышлений <...>. И я так понимаю, что сегодня это одна из важнейших проблем и задач в нашей советской науке и культуре, поскольку мы понимаем, что надо поднимать архитектуру и градостроительство и много чего, а для этого надо, прежде всего, иметь представления о проектирующем, или проектном, мышлении, программирующем мышлении, мышлении, в котором принимаются управленческие решения. <...>

Это разные фрагменты системы мышления. Они структурно разные, или системно разные. Их надо описывать как разные системы. Вот что очень важно. Это не функции одного единого мышления, а разные типы его организации.

Заявив, что логика отражает, или описывает, человеческое мышление, теперь нужно было это реализовать, построить, сконструировать схемы мышления. И весь вопрос был, какими мы их зададим. Следовательно, от этого фундаментального допущения, именно в силу того, что мы его сделали, мы были приведены к необходимости строить схемы мышления, совершенно по-новому отвечать на вопрос, что же такое мышление, как оно устроено.

И тут я так, про себя, с усмешкой говорю: в силу малограмотности мы выдумали такое, чего раньше не было. Если бы мы знали, как это делали другие мыслители до нас, мы бы, наверное, этого не придумали, но поскольку не знали и поскольку все наши оппоненты, т.е. наша профессура, были догматиками, отвечать им приходилось всегда просто и определенно — они ведь начинали понимать только тогда, когда схему на доске рисуешь и все разобъяснишь. Поэтому приходилось, общаясь с ними, все рисовать и доводить до абсолютной понятности.

Несколько дней, непосредственно перед выступлением здесь, я искал для себя ответ на вопрос: в чем же состояло изменение философских ориентаций тех лет, в чем был смысл той работы, которую проделал ММК? <...> Ответ получился очень странный, и я не уверен, что его можно предъявлять как нечто тщательно и ве-

сомо продуманное. Мне представляется, что один из основных вопросов, который должен был обсуждаться в те годы <...> был — вы сейчас удивитесь — вопрос о том, как относиться, с одной стороны, к гегелевской философии, а с другой — к кантовской философии, каково взаимоотношение между Иммануилом Кантом и Георгом Гегелем, кантианством и гегельянством. <...> Или, иначе говоря, — это, может быть, окажется лучше — основным становится вопрос о соотношении души и духа.

Что же такое есть душа человека? Нечто имманентно растущее вот здесь под пиджаком — ну, если я буду рассуждать как европейский человек, то растущее в сердце, а если я человек восточный, я буду говорить растущее в печени или еще где-то — это одна линия. И другая, гегельянская, состоящая в том, что есть некий дух — культура, или социокультура, и каждый человек есть отражение определенных структур культуры в этом социальном окружении и в этой социальной организации. И в зависимости от того, как мы отвечали на этот вопрос — одним или другим образом, — мы принимали ту или иную жизненную позицию. И действовали так или иначе. <...>

Итак, основная проблема, которая встала тогда, в 40-е годы, — звучит она очень абстрактно, я бы даже сказал — схоластически, я не боюсь этого слова, — это проблема: так где же существует человек? Является ли он автономной целостностью или он — только частица внутри массы, движущаяся по законам этой массы? Это одна форма этого вопроса. Другая — творчество. Принадлежит ли оно индивиду или оно принадлежит функциональному месту в человеческой организации и структуре? Я на этот вопрос отвечаю очень жестко: конечно, не индивиду, а функциональному месту! Я очень люблю вот это место у Шекспира: и молодой герцог может иметь красивую наружность, потому что всякая герцогиня может по случаю переспать со свинопасом. Но будет ли этот молодой человек уметь читать и писать, зависит от того, в какой семье его воспитывали: если в дворянской — он будет уметь читать и писать, а если в семье свинопаса — то не будет. Я продолжаю эту мысль и говорю: с моей точки зрения, способность читать и писать, способность мыслить или, наоборот, не мыслить, переживать или не переживать, иметь нравственность или не иметь оной и жить без нее припеваючи — все определяется принадлежностью к тому или иному функциональному месту в социальных структурах. <...>

А личность — это когда человек-индивид отвоевывает себе право не подчиняться законам места и бродить в этой социальной структуре. Вот тогда формируется личность. <...>

Утверждается простая вещь: есть некоторая культура, совокупность знаний, которые транслируются из поколения в поколение, а потом рождается — ортогонально ко всему этому — человек, и либо его соединят

с этим самым духом, сделают дух доступным, либо не соединят.

Я сказал, что мышление было положено как новая реальность в мир, реальность, отдельная от реальности материи и противостоящая ей. И было заявлено, что это особая субстанция, существующая в социокультурном пространстве. Тем самым был преодолен психологизм, или натурализм. И это, говорю я, опять-таки важнейшая оппозиция, решающая, с моей точки зрения, судьбы XX века и следующих двух-трех столетий, поскольку трактовка мышления как эманации человека и человеческого сознания есть, по моему глубокому убеждению, величайшее заблуждение европейской истории. И это то, что сегодня делает нас идиотами и мешает нашему развитию. <...>

Произошло разделение мышления и деятельности как особой субстанции и человеческого индивидуально-личностного существования. Следовательно, был преодолен психологизм, который господствует в европейской традиции с середины XII века, от Абельяра. По сути дела, не человек мыслит, а мышление мыслит через человека. Человек есть случайный материал, носитель мышления. <...>

И поэтому надо, с одной стороны, исследовать мышление, законы, или механизмы, жизни этой субстанции и, с другой стороны, исследовать самого человека. И отвечать на вопрос: что есть человек? Для меня первый грубый ответ таков: это есть, наряду с машинами, знаками, лишь часть материала, на котором паразитирует мышление. И это надо очень четко понимать: паразитирует. Вот эта искусственная компонента формирования человека, или образования его, есть приобщение человека к мышлению и деятельности, которое мы производим искусственно-технически, если хотим иметь культурных и развитых людей.

Итак, надо было положить мышление в мир, а следовательно, сконструировать онтологическую картину. И это был первый важнейший шаг, который был сделан тогда, в начале 50-х годов. Но сначала это утверждалось идеологически, как принцип, а теперь все это надо было реализовать конструктивно и строго научно. Или, во всяком случае, философски — я бы пока здесь науку и философию не разделял, хотя думаю, что философия это не наука, философия есть философия, и по своим методам, средствам мыслительной работы принципиально отличается от науки. <...> Наука ведь не кладет объект в мир. Это функция философии. И философия для того и нужна, чтобы класть в мир новые объекты. Потом, когда это сделано, могут налетать ученые и дальше начинать этот объект с разных сторон мерить, описывать, формулировать. <...>

Итак, положена особая субстанция — мышление. Теперь нужно задать статус этой субстанции, ответить на вопрос, как она существует и каково прост-

ранство, в котором она, эта субстанция мышления, существует. Но ведь, по сути дела, ответ на этот вопрос означает задание другого представления о мире и о реальности, поскольку, если теперь мы говорим, что мышление есть реальность и другой мир, мы должны отвечать, какой. Ненатуральный, это понятно. А какой же? И приходится отвечать, что это — мир социокультурный, мир исторический. Опять-таки, вроде бы для советской философии эти тезисы понятны. В любом учебнике по диалектике, истмату формулируются эти тезисы, но они выхолощены и не имели никакого смысла, пока не было положено в этот мир мышление как субстанция особого рода. Вот это очень важно.

После того как эта субстанция положена, тезисы об историческом подходе, об истории как особом пространстве приобретают свой реальный смысл, ибо историческое — это есть мысль, мышление. Именно мышление имеет историческое существование, а не натуральный мир. Натуральный мир в этом смысле, как учили еще древнегреческие философы, бесконечен и всегда сам себе равен. А вот когда мы начинаем обсуждать мышление как субстанцию особого рода, противостоящую материи, или, если говорить в декартовых терминах, мышление как противостоящее субстанции протяженной, тогда и тезис об историческом подходе и истории как основной и единственной науке становится понятным и осязаемым. И это первый принцип — принцип оппозиции деятельностного подхода натуралистическому и естественнонаучному. <...>

Итак, самостоятельное, автономное существование субстанции мышления, не сводимой к материальному миру и существующей наряду с ним, материальным миром, с материей. Это первый тезис.

Второй тезис: этот мир существует в истории. Он — исторический. И теперь я добавляю то, что я уже сказал, но в контексте развития этих идей. Это есть мир социокультурный, а не природный, и, следовательно, мир социокультурный противопоставляется миру природному (оппозиция исторического и натурального). <...>

Признание исторической, или исторически развивающейся, субстанции мышления заставляло теперь менять основные категории. Природа существует через описание ее в категории натурального, или естественнонаучного, а анализ мышления, точно так же, как и истории, требует расширения этой категориальной базы. И наряду с категорией естественного появляется категория искусственного, или искусственно-технического. И вроде бы тогда и саму историю можно уже трактовать иначе. История есть, следовательно, не натуральный, не естественный процесс; она есть кентавр-процесс, т.е. процесс искусственно-естественный, или, иначе говоря, требующий для своего описания одновременно двух категорий: категории естественного, с одной стороны, и категории искусственного — с другой. Можно сказать и так: одним из важней-

ших факторов исторического процесса становится целевое человеческое действие. И как таковое — как целевое и как действие — оно не подчиняется категории естественного. Больше того, действие вообще незаконномерно и незаконсообразно, и подходить к действию с точки зрения традиционных представлений о естественном процессе и поиска законов этого естественного процесса бессмысленно, неэффективно и непродуктивно.

Категория естественного, или натурального, должна быть дополнена категорией искусственного, или искусственно-технического. Я бы даже сказал, что эта последняя категория сегодня главная. Главная для развития страны, для развития профессий в стране. От ее разработки зависит судьба инженерной профессии. И если мы эту категорию искусственно-технического в противоположность естественнонаучному построим, то мы, может быть, даже сможем обучать инженеров в вузах — то, чего мы сейчас не делаем.

Я не случайно говорю о том, что мышление есть особая субстанция, которая может и должна существовать отдельно и независимо от субстанции материи. Но ведь если это так, то это влечет за собой другую концепцию мира. Я ведь утверждаю простую вещь: мир есть то, что мы мыслим, а не то, что реально. И в этом смысле Платон был прав: есть мир идей и мир теней. <...>

Мир искусственно-технического и есть мир идей. <...> Мир идей — он двойной, тройной, вообще он — фасеточный, многоликий. И это есть линия развития мышления как субстанции. Независимой, говорю я, от мира материи. Поскольку сама идея о том, что мышление отражает мир реальный, есть, с моей точки зрения, бредовая идея, хотя в классовом отношении очень нужная. При такой идее людей мыслящих быть не может. В этом смысл идеи отражения: чтобы, упаси Боже, мысли не возникло. Это надо преодолеть. Надо строить другие миры, отказываясь от ограниченной онтологии естественного мира и отражения его в мышлении.

И мир мышления, и мир социальный суть искусственно-естественные миры. Они, следовательно, содержат процессы принципиально разнородные: те, которые мы описываем в категории естественного, и те, которые мы должны дополнительно описывать в категориях действия — целенаправленного, искусственного (искусства, или тварности). <...> И это становится среди прочего одной из важнейших проблем и задач развития научного мышления, которое теперь уже строится не только на категории естественного, но и на категории кентавр-системы. И мы теперь, приступая к каждому явлению, которое хотим исследовать, должны разделять план естественного существования, естественной эволюции и планы искусственные, целе-

вые. На этом будет строиться, говорю я, развитие всех наук. Это есть основная проблема и задача революции в области науки — восстановление наук в их эффективной роли и функции.

Онтология естественных процессов, или онтология естественнонаучного подхода, разработана за последние триста лет, и мы из нее выжали почти все, что можно было выжать. Она исчерпана. Теперь надо обсуждать вопрос о направлении и перспективах нашего следующего развития, шагов развития. И я говорю: надо переходить к строительству другой, дополнительной онтологии, искусственной, искусственно-технической, и дальше делать шаг к пониманию того, что все исторические процессы, с одной стороны, и все исторические творения — с другой, суть искусственно-естественные образования. Вот это мне кажется важным, и я говорю: это следующий шаг, который определяет перспективу на ближайшие двести, триста или четыреста лет.

Один из очень важных результатов, который мы получили в конце 50-х годов, заключается в следующем: в человеческом мышлении и в работе сознания одним из важнейших моментов является наличие или построение и присвоение онтологических картин. <...>

Вот, скажем, для того, чтобы могла сформироваться физика, нужно было, чтобы физики из самых разных направлений построили единое представление о строении вещества, и оно было построено в XIX веке, и это дальше определило развитие физики в рамках того, что я называю онтологической картиной. Скажем, молекулярно-кинетическая теория строения вещества выступала как онтологическая картина. Потом, когда возникли представления об электромагнетизме и было задано представление о поле, возникла новая онтологическая картина, а именно, что все есть поля. Сегодня мы говорим: электромагнитные поля, биополя или еще что-то. Но поле живет иначе, чем материальные частицы в молекулярно-кинетической теории, да? <...> Для того чтобы сравнивать, скажем, газ, металл и еще что-то, нам надо иметь эту онтологическую картину. Одну или другую, но ту, которая ухватывает способ бытия и газа, и твердого вещества или еще чего-то.

Та же ситуация была и у нас. Если я говорю, что нам надо было сравнивать философию, науку, методологию, логику, то мы прежде всего должны были ответить на вопрос: а что все они такое — по сути своей? И если мы на этот вопрос отвечаем, мы задаем онтологическую картину. <...> От того, насколько она ухватывает сущность, зависит успех моей работы. Мне может повезти либо не повезти, это дело случая. <...> Мне важно иметь онтологическую картину. И это моя гипотеза. Я ее выдвигаю, я ее имею и в рамках этой онтологической картины буду строить работу. Свезло мне или нет — это скажут последующие поколения людей. Если мне свезло, меня зачислят в великие философы, ученые или еще что-то. Не свезло — скажут:

“Ну, ошибся, путаник”. Это уже проблема моей судьбы <...>. И не мое дело обсуждать: так как же, свезло мне или нет? Люди высказывают гипотезы, мнения, а уже на небесах решают, попал или нет. Маркс ответил бы иначе. Он сказал бы: “Всемирно-историческая практика отвечает на вопрос, попал или нет”. Но мне начхать; для меня что на небесах, что практика всемирно-историческая — все едино. После моей жизни, когда я уже сгнию и когда я свою работу проделаю. И поэтому я говорю: в науке, в философии нет разницы между истинным путем или ложным. Важно в жизни не мельтешить. Выбрал путь — иди до конца и не сгибайся. А что у тебя получится в результате — человечество проверит.

Итак, есть такое место, пустое место, необходимое для мышления, — онтологическая картина. Чем оно будет заполнено, зависит от того, в какой традиции вы воспитывались: если вы математик, то вы будете работать в аксиоматике. Мне это не близко. Для меня эта работа трудна. Я люблю работать в картинах. Я рисую схему и вижу объект в схеме. И чтобы схема была наглядной, и каждый знак в схеме был многозначным. Когда мне говорят: “точность”, “однозначность”, — я говорю: мне это не нужно, мне нужно как в реальности и в действии, поскольку мышление есть деятельность. <...> Поэтому важно понимать, что в мышлении, в его организации должно быть такое место, как онтологическая картина. И я таким образом как бы присваиваю себе прерогативу и функцию Господа Бога: я вижу мир таким, каков он есть на самом деле и в сущности своей. И человеку, чтобы работать, надо такую картину иметь.

Там, где надо принимать волевые и субъективные решения, брать на себя риск, современный человек стремится опереться — и в этом смысле наука выполняет все основные функции религии — на научные прогнозы, предписания и тем самым снять с себя ответственность, предпочитает ничего не решать, ничего на себя не брать, а говорить: так сказала наука.

Так вот, деятельностный подход складывался и формировался при четком понимании того, что не может снимать с себя человек ответственность и что эта сторона, субъективный подход и волевое решение, необходима в каждом деле и есть, наверное, самое главное, что требуется от всякого человека. <...>

Деятельностная концепция прежде всего несет в себе активную позицию индивида. И это очень важно. Но как только мы фиксируем наличие такой установки, или интенции, на активное действие в противоположность научному описанию того, что происходит естественно и само собой, сразу возникает вопрос о научных обоснованиях этой деятельностной концепции. Вроде бы меня могут упрекнуть здесь в противоречии, но это чисто видимая вещь. Я ведь полностью не отказываюсь от научной позиции, гово-

рю, что я по природе своей “научник”, т.е. человек, сформированный в этой жалкой в сути своей концепции — научной. Но так есть, и это приходится фиксировать. Мы не могли сразу уйти от этой позиции, поскольку воспитывались на ней и ею жили. Поэтому естественно, что все родимые пятна такого воспитания постоянно проявлялись.

Имея активную позицию несогласия и активного действия, или перестройки того, что есть, мы затем должны были в силу своего воспитания обосновать эту позицию теми же самыми научными методами, которые мы в своей исходной позиции отвергали и считали, мягко говоря, смешными. И это вроде бы, говорю я, естественный ход, если иметь установку на активное воздействие на людей, которые все в нашей стране живут в этой жалкой, как я сказал, идеологии. Но как только мы принимаем научную установку, мы должны выделять объект соответствующих знаний и представлений, выделять его, или, если говорить откровеннее и резче, — *конструировать*. И в этом, с моей точки зрения, состоял основной заход ММК тогда, в начале 50-х годов. У нас была активная позиция, мы были логиками и применяли эту активную позицию прежде всего к логике в определении ее назначения, функций. И трактовали логику, как я сейчас понимаю, с точки зрения европейской традиции совсем некультурно и бессмысленно — как науку. Теперь я понимаю, что это была страшная глупость, но глупость, подтверждаемая очень многими значимыми именами.

Вы знаете, что одно из самых крупных произведений Гегеля называлось “Наука логики”. И это было, как я уже говорил, такое заблуждение, которое много эффективнее и полезнее, чем любая истина. Гегелю надо было сказать это, разрывая с кантовской традицией, сказать, что логика есть наука и должна быть наукой. И мы эту позицию приняли, повторяю еще раз, хотя теперь я понимаю ее некультурный и смешной характер.

Итак, наука логика. Но тогда надо отвечать на вопрос, что есть объект этой науки. И ответ был: мышление. Таким образом, сложилась установка на выделение мышления как объекта этой самой пресловутой науки логики, и надо было это мышление положить как объект в мир. Именно в мир, я здесь не ошибаюсь. Я сознательно говорю это, и это принципиальный момент. Не просто как вещь знания или объект знания, а именно как объект, имеющий самостоятельное существование, в своей реальности и объективности.

Но кладется это все, я утверждаю, всегда и везде через соответствующую конструктивную работу. Поэтому надо было теперь это мышление как объект сконструировать, задать его онтологическую картину и положить в мир онтологии. Для меня это означает, что надо было этот объект положить в деятельность, в мир деятельности. Сделать его объективным в социокультурном смысле, поскольку предполагать, что мышле-

ние есть натуральный объект или порождение природы — а вы понимаете, что когда я говорю об этом, то говорю с большой насмешкой, понимая, что есть много очень авторитетных мыслителей, которые и сегодня думают, что материя в ходе своей эволюции, своего развития порождает мышление как свою высшую форму, — это, на мой взгляд, очень смешно.

То, что мы потом назвали МЛК, сложилось в очень сложной для меня лично ситуации. <...> В моей жизни все случилось тогда — при переходе с физического на философский факультет и при формировании этой группы. Тогда, в этот короткий срок, закладывались основные устремления, основные интенции — субъективная позиция людей, во многом не согласных с тем, что тогда происходило, не принимавших этого, занимавших определенную нравственную позицию по отношению к этому. А научные основания, научные представления формировались уже затем, как способ обоснования и оформления этих интенций и этих позиций. Я полагаю, что так происходит всегда и так должно происходить всегда: затем уже начинаются анализ, критика и ссылка на те или иные научные основания. В этом, действительно, суть деятельности подхода. <...>

Люди вообще живут не в мире природы, не в мире объектов и даже не в мире социальных отношений. Для того чтобы жить, строить свое мышление и деятельность, каждый человек должен построить пространство мышления и деятельности. Это пространство, с одной стороны, конституируется каждым, и, я так понимаю, период до двадцати пяти лет или, как говорил Платон, до двадцати восьми лет предназначен именно для этого. А работа начинается после двадцати восьми лет, когда пространство выстроено. С другой стороны, все обстоятельства жизни как бы поставляют для вашего выбора те или иные процессы, явления, события, которые надо отбирать. <...> Каждый человек строит это пространство мышления и деятельности и дальше мыслит, действует и живет в этом пространстве, а не в мире вещей. <...>

Философский факультет действительно представлял собой хорошую зловонную помойку. Но это не имеет отношения к философии: философия ведь бытует не на философских факультетах, она бытует в идеальном мире. И дело не в том, в какой “Вороньей слободке” пришлось жить человеку, хотя это очень важно и “Воронья слободка” кладет свою печать на человека; люди живут в идеальном пространстве, если им свезло и они сумели его построить. В первый же год пребывания на философском факультете я понял, что жить там нельзя. Но из этого вытекал только один практический вывод, что нужно строить свой идеальный мир, в котором и нужно жить.

Вы никуда не уйдете от развития организационных структур, и выход состоит только в том, что человек

победит в этом соревновании с организационными структурами. Единственный способ выскочить из западни — это сделать индивида более сильным, чем эти структуры. Должна наступить эпоха соревнования структур и индивида. И я стою на стороне индивида, поскольку я считаю, что он обманет эти структуры и победит. <...>

Тоталитарная организация есть способ жизни сегодня, и никуда вы от этого не денетесь. Это точно такой же закон, как солнце всходит и заходит. А поэтому есть один-единственный способ, чтобы люди стали сильнее организации: усиление организации должно сопровождаться усилением человеческих индивидуально-личностных потенций. В стране не должно быть лопоухих людей, глупых; люди должны быть умными, и тогда они справятся и с тоталитарной организацией тоже. Я не обсуждаю вопрос, как они справятся, но справятся, я в этом убежден. Поэтому главное — это мыследеятельность. Советский человек должен быть самым сильным человеком, поскольку он живет в самых тяжелых условиях. Так я рассуждаю.

То, что я живу в тоталитарной системе, я понял где-то лет в двенадцать. А дальше передо мной стоял вопрос — как жить? Я понял одну вещь — что я должен на все это наплевать, поскольку тоталитарная, нетоталитарная — знаете, никакой разницы между ними нет, по сути... Когда я это понял, я дальше жил и работал. И обратите внимание, выяснилось, что это несущественно, в каких условиях вы живете, если вы имеете содержание жизни и работы. Иметь его надо! Нам ведь нужен этот тоталитаризм, чтобы мы могли говорить: “Вот если б я жил там! Я бы, ох, сколько натворил!” <...> Нет, если у вас что-то есть за душой, то вы можете развернуться и здесь. И вроде бы я есть живое доказательство этого, поскольку работаю-то я в философии — все время. И оказывается — можно работать. <...>

Я ведь утверждаю простую вещь: тоталитаризм есть творение российского народа. Народа! И соответствует его духу и способу жизни. Он это принял, поддерживал и всегда осуществлял. Вот ведь в чем состоит ужас ситуации.

Теперь я понимаю, что тезис “мышление есть деятельность”, если брать его как научный, — ошибочный, мышление не есть деятельность. Но тогда это носило философски-категориальный смысл и было совершенно правильным, ибо задавало другой мир. А поскольку этот тезис был, все “научники” печенки нам проели: “А что такое деятельность?” И вроде бы был единственный способ отвечать на этот вопрос — построить понятие деятельности. <...>

В 1963 году, на 3-м симпозиуме по методологии науки и логике, это было объявлено как программа — переход к разработке теории деятельности. Следователь-

но, предельная категория была переведена в предмет новых исследований. <...>

В этом состояла основная интенция второго этапа, который кончился в 1971 году, и тогда произошел переход к исследованию мысли-коммуникации — в противоположность мышлению. Переход этот был задан стремлением достичь полноты описания в теории мышления. <...> Надо было перейти к изучению собственно коммуникативных структур и мысли, развертывающейся в этих коммуникативных структурах. <...>

Этот период для меня заканчивается в 1979 году, поскольку была проблема — создание своего рода практики для участников методологического семинара.

Они все были очень умные, но “щелевые”, поскольку знали, что они члены семинара, люди, вынутые из жизни. У них не было позиции, которая есть у каждого аппаратчика в системе районного, городского или областного комитета партии. И следовательно, они были недочеловеками. Надо было вводить практику, и я это четко понимал. Но поскольку от править их выполнять работу директоров заводов или секретарей горкомов и обкомов было нельзя, практику надо было создать при семинаре. Это и есть основное соображение, которое заставило разрабатывать организационно-деятельностные игры (ОДИ). Они рождались из установки дополнить чисто мыслительную работу практической работой. И вроде бы они эту функцию выполняют, поскольку они есть имитация практической жизни. Имитация в колбах, но настоящей, концентрированной практической жизни.

Весной 1979 года я получил заказ на разработку “ассортимента товаров народного потребления для Уральского региона”. Что такое “ассортимент товаров народного потребления”, тогда было неизвестно. <...>

Я начал собирать людей под эту странную работу. Работа была странная, поскольку надо было выдумать что-то такое, чего не было. <...> Когда я обдумываю эту ситуацию, я всегда вспоминаю это задание из сказки: иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Я утверждаю, что такого рода задания есть особый класс заданий, которые и должны называться проблемными. Я здесь различаю два понятия — проблемы и задачи, и задачу всегда понимаю как задачу учебную в сути своей. Задача — это такое задание, когда, во-первых, продукт известен, известно, что именно надо получить. И кроме того, известно, как это делать. <...> В этом смысле я и говорю, что они всегда учебные: там возможен учитель, т.е. человек, который знает, как это делать. Он может прийти и рассказать. А здесь была проимитирована проблемная ситуация: иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, но — чтобы ассортимент был. <...>

Меня на самом деле этот ассортимент в упор не интересовал. Мне ж надо было ответить на вопрос: а

могу я сделать такое — решить проблему, собрать коллектив по решению проблемы? Чисто мыслительному решению... А вот что там будет в практическом отношении, никакого значения не имеет, поскольку, как вы понимаете, нашей стране ведь ничего не нужно — ни инженеры, ни ученые, ни дизайнеры. Всего этого ни в первобытном обществе, ни в феодальном быть ведь не может. <...> Но тогда мы с вами автоматически становимся недочеловеками. И это очень обидно, а мне так просто противно. И потому я взял этот заказ, или задание, для того, чтобы решить проблему, т.е. сделать то, неизвестно что. И чтобы были довольны все.

Вот с таким четким пониманием я и начал в Москве собирать участников. Но при этом обнаружилась невероятно интересная вещь. Прихожу к исследователям и говорю: “Поедете ассортимент разрабатывать?” У них лица сразу делаются грустными, и они говорят: “Да нет, не поедем”. — “Чего?” — “Мы — исследователи, мы умеем исследовать, а ассортимент — это не наша тема. Мы себя уважаем, поэтому ерундой разной заниматься не будем. Нам нормы нужны, точные указания”. То есть все могут решать задачи, а проблем никто вообще не принимает. Это опять-таки наша стандартная ситуация, ситуация безнадежно отстающего общества.

Но оказалось, что если с уважающими себя специалистами разговаривать иначе, то все получается. Приходишь и говоришь: “Слушай, вот такая интересная темочка — “ассортимент”. Я знаю, что ты искусствовед (или исследователь, или методолог, или инженер), но я тебя не зову это разрабатывать. Давай в это поиграем”. — “Что значит поиграем?” — “Ну, знаешь, как дети играют. Палку взял, между ног поставил и говорит: “Я — в Первой конной армии Буденного!” Вот так же соберемся”. Люди получали новый поворот мысли и говорили: “А чего? Девушки будут?” — “Будут”. — “Танцы будут?” — “Будут”. — “Командировочные платишь?” — “Плачу”. — “Так в чем проблема? Поехали”. Вот так я и набрал под игровое действие — с образом этого мальчика, который скачет на палке, изображая Первую конную армию Буденного — команду в 30 человек из Москвы. Первоначально мы начали все это проводить в Москве, там было 50 человек, из них 30 поехало на Урал, 15 было оттуда — специалистов Уральского филиала ВНИИТЭ, дизайнеров. И, таким образом, мы провели в августе 1979 года первую организационно-деятельностную игру — но тогда и слов таких не было — первую игру на тему “Разработка ассортимента товаров народного потребления”.

Организационно-деятельностная игра опирается на весь массив методологических представлений, представлений системомыследеятельностной методологии, которые разрабатывались в семинарах до этого. Вне этого массива представлений ни игра, ни все то, что там происходило, невозможны. И в этом смысле игра есть совершенно особое образование.

И люди, которые на это пошли — а вы уже поняли, конечно, что вопрос “Будут ли девушки, будут ли танцы?” есть форма принятия, знаете, такая вежливая манера речи, — хотели “штурмовать небо”. Им надо было проверить себя: могут ли они выдумать, сделать нечто такое, что возникает, казалось бы, из практической, жизненной ситуации, но не имеет пока что решений и подходов. Могут или не могут? Проверка каждый раз самого себя и вопрос для самого себя.

А следовательно, надо было задавать особый режим жизни, опять-таки не только работы, а вообще всей жизни, особый климат, особую атмосферу. На это всегда и направлена разработка, а это означает проектирование игры, программирование игры, сценарирование некоторых основных моментов.

И именно это — программирование, проектирование, сценарирование работы, или момент самоорганизации, а в данном случае речь шла о самоорганизации коллектива людей и сложных взаимодействий между ними, — это и является всегда самым главным и единственным, что вообще нужно культурному народу, культурной стране. Все остальное есть экскременты жизни, <...> и, если работа организована, все вываливается как из рога изобилия, в том числе и результаты, которые входили в целеопределение, и те, которые не входили в целеопределение...

В форме организационно-деятельностных игр мы создали для себя, для методологического семинара *практику*, поскольку вот эта имитационная, игровая форма есть практика в подлинном смысле слова. Причем она может выступать в качестве исторической практики, и никакой другой практики, как я теперь думаю, в общем-то, и не надо людям. И отсюда я делаю утверждение: мы создали новую социокультурную форму коллективной работы, коллективного мышления, коллективной деятельности... Я утверждаю, что она очень нужна советским людям для имитации настоящей жизни, которой мы на работе, на службе никогда не имели. <...>

Нет у нас в нашей реальной жизни игры. У нас все невероятно серьезно. Теперь я продолжаю и говорю: у нас же вся жизнь фиктивно-демонстративная. Мы все делаем вид, что мы живем, мы делаем вид, что мы работаем, а на самом деле ничего не делаем. Это и есть наша жизнь. А игра — дело очень серьезное и с содержанием. Она нам нужна, поскольку дает людям возможность жить — пусть в “пробирке”, но свободно. Игра вас может сделать человеком, если вы включитесь в нее... — да, человеком в пробирке. Но тот, кто прожил десять дней в пробирке человеком, может остаться таким и дальше, если запомнит, что это значит — быть человеком.

Результатом этого периода явилось создание совершенно новой схемы, схемы мыследеятельности и

кардинальной революции в представлениях о мышлении и деятельности.

До этого мы все время говорили о мышлении и деятельности, причем на первом периоде изучалось мышление, потом начали рассматривать деятельность, и вроде бы сначала трактовали мышление как деятельность. Но мышление не есть деятельность, мышление — это мышление. Если мы понимаем деятельность категориально, то мы можем отнести мышление туда как род бытия. Но если мы теперь рассматриваем все это конкретно, то мы должны вводить оппозицию, и эта оппозиция существовала — мышления и деятельности. Но в играх, которые суть синтетические формы жизни, мышления и деятельности, выяснилось, что рассматривать мышление без деятельности нельзя и деятельность без мышления тоже нельзя. Так возникло понятие мыследеятельности.

Я провел к сегодняшнему дню 71 игру и еще примерно 130 провели мои ученики. Игра решает любые социальные, политические, социокультурные вопросы, создает новые образцы. И это выясняется *повсеместно*, поскольку в игре можно имитировать любую область жизни. Больше того, в игре можно выходить в будущее и смотреть, что там, в будущем, будет. <...> Только мыслью этого сделать нельзя. Мысль — вещь мощная, но она ограничена. Нужно практическое подтверждение.

Меня спрашивают, опираясь на книжку Германа Гессе “Игра в бисер”, почему бы не сделать главной областью работы создание в стране новой Касталии, т.е. области обучения и развития людей. <...> Мы все время работаем в этом направлении, и весь семинар — тот семинар, который называется ММК — есть такая Касталия. Но при этом надо очень четко определять порядок и последовательность. Мне ведь важно, чтобы эта Касталия была самой “передовой” Касталией, а следовательно, содержание должно быть самым мощным из всех, которые сегодня есть в мире. Я на этот вопрос для себя отвечаю — и это вроде бы моя специальность и профессия, — что самое мощное содержание сегодня — это методологическое содержание. Оно много мощнее, чем наука и научное содержание, которое, с моей точки зрения, уже умерло.

Вот это мне ясно. Поэтому мне нужно прежде всего подготовить стране достаточный контингент методологов. Я это и делаю. И для меня работа в области методологической Касталии есть *главное*. Если мне удастся подготовить сто — сто пятьдесят методологов на страну, я умру спокойно. Поскольку они дальше будут по принципу лавины готовить следующих, включая и те немногие контингенты ученых, которые понадобятся. Они смогут это сделать. Но они должны быть методологически подготовленными и жить в методологии. Поэтому я занимаюсь развитием методологической Касталии.